

Сент-Джуд

Из прерии яростно наступает холодный осенний фронт. Кажется, вот-вот произойдет что-то ужасное. Солнце низко, свет тусклый, стынет звезда. Беспорядочные порывы ветра, один за другим. Деревья в тревоге, холодает, конец всему северному мирозданию. Детей в здешних дворах нет. На пожелтевших газонах длинные тени. Красные дубы и белые болотные дубы осыпают желудевым дождем крыши домов с выплаченной ипотекой. В пустых спальнях дрожат двойные рамы. Жужжит, икает сушилка для белья, простуженно гудит садовый пылесос, зреют в бумажном мешке местные яблоки, пахнет бензином, которым Альфред Ламберт, покрасив с утра плетеное садовое кресло, промывал кисть.

В этих стариковских пригородах Сент-Джуда три часа дня — время опасное. Альфред заворочался в большом синем кресле, где дремал после ланча. Он выспался, а местные новости будут передавать только в пять. Два пустых часа — коварная пауза, рассадник инфекций. Альфред с трудом поднялся на ноги, постоял у стола для пинг-понга, гадая, куда подевалась Инид.

Тревожный звон разносился по всему дому, но никто, кроме Альфреда и Инид, его не слышал. Сигнал подавало нарастающее беспокойство. Словно громко дребезжала большая

стальная чашка с электрическим язычком, которая выгоняла школьников на улицу во время пожарных тренировок. Звонок звенел уже так давно, что Ламберты перестали воспринимать тревожное предупреждение — ведь любой звук, надолго повиснув в воздухе, мало-помалу разлагается на составные части (так любое слово, на которое тарачишься, в итоге распадается на цепочки мертвых букв) — и теперь слышали только частые удары язычка о металлический резонатор, не слитный звон, а россыпь щелчков, сопровождаемых пронзительными обертонами; звонок звенел так давно, что уже попросту слился с фоном и становился внятн лишь в ранние утренние часы, когда один из супругов Ламберт просыпался, обливаясь потом, и соображал, что звонок трезвонит в голове невесть с каких пор, трезвонит столько месяцев кряду, что успел превратиться в метазвук, нарастание и затихание которого зависело не от силы ударных волн, а от большего или меньшего *осознания* этого звука. Осознание особенно обострялось, когда сама природа впадала в беспокойство. Тогда Инид и Альфред — она на коленях в столовой, выдвигая ящики, он в подвале, подозрительно приглядываясь к шаткому столу для пинг-понга, — чувствовали, что нервы вот-вот лопнут от тревоги.

Сейчас беспокойство вызывали купоны, лежавшие в ящике рядом с витиеватыми свечками осенних оттенков. Стопка купонов была перехвачена резинкой, и Инид вдруг сообразила, что срок действия большинства из них (а ведь дату, как правило, обводили красным) истек месяцы и даже годы назад, что сотня с лишним купонов, суливших в совокупности скидки более чем на шестьдесят долларов (сто двадцать в Чилтсвилском супермаркете, где скидки удваивали), обесценилась. Тилекс, шестьдесят центов скидки. Экседрин, целый доллар. Срок действия не просто истек — он давно отошел в прошлое. Сигнал тревоги звенел много лет.

Инид пихнула купоны обратно к свечкам и задвинула ящик. Вообще-то она искала заказное письмо, доставленное несколько дней назад. Альфред слышал, как почтальон по-

стучал в дверь и заорал: “Инид! Инид!”, да так громко, что не услышал ответного вопля: “Я открою, Ал!” Муж продолжал выкликать ее имя, неуклонно приближаясь, а поскольку письмо было из корпорации “Аксон” (Ист-Индастриал-Серпентайн, 24, Швенксвилль, Пенсильвания) и в ситуации с “Аксоном” имелись нюансы, о которых ведала лишь Инид, а Альфреду лучше бы о них не знать, она быстренько спрятала письмо где-то неподалеку от входной двери. Альфред как раз выбрался из подвала, взревел, точно землеройная машина: “Инид, кто-то стучит в дверь!”, и она буквально провизжала в ответ: “Почтальон! Почтальон!”, а он только головой покачал, не разумея, что к чему.

Инид твердо знала, что в голове давно бы прояснилось, если б не надо было каждые пять минут проверять, чем занят Альфред. Как она ни старалась, ей не удавалось вдохнуть в мужа интерес к жизни. Если она уговаривала его снова заняться своими железками, он смотрел на нее, как на сумасшедшую. Если предлагала привести в порядок двор, он отвечал, что у него болят ноги. Если напоминала, что у всех знакомых есть хобби (Дейв Шумперт возился с цветным стеклом, Кёрби Рут строил изящные домики для сизых вьюрков, Чак Мейснер ежечасно проверял курс своих акций), Альфред реагировал так, словно она норовила отвлечь его от главного труда всей жизни. От какого такого главного труда? Покраски мебели на веранде? С плетеным диваном он колупался со Дня труда¹. Помнится, когда прошлый раз брался за краски, он справился с этим диваном за два часа. Теперь же день за днем отправлялся в мастерскую, а когда через месяц Инид рискнула проинспектировать работу, выяснилось, что у дивана покрашены только ножки.

Альфред встретил ее неприветливо. Сказал, кисть пересохла, оттого работа и затянулась. И старую краску с прутьев сдирать — все равно что снимать кожицу с брусники. Еще он

¹ *День труда* — отмечается в первый понедельник сентября.

ворчал на сверчков. Инид начала задыхаться — не от злости, разумеется, от запаха бензина, от душной сырости в мастерской (пахло мочой — чушь какая, откуда тут моча?!). Она поспешила наверх, поискать письмо из “Аксона”.

Шесть дней в неделю почтовые отправления фунтами сыпались в щель парадной двери, а поскольку недопустимо, чтобы в холле громоздились какие-либо случайные предметы — жить полагалось так, словно в доме никто и не живет, — Инид постоянно вела нелегкую борьбу. Она не воображала себя партизаном, но больше всего это смахивало на партизанские действия. Днем она передислоцировала матчасть, иногда лишь на шаг опережая правительственные силы. Вечерами, устроившись под очаровательным, хотя и чересчур тусклым бра за чересчур маленьким кухонным столиком, она совершала вылазки: оплачивала счета, сводила баланс по чековым книжкам, пыталась расшифровать бумаги медицинского страхования и ломала себе голову над грозным третьим извещением из медицинской лаборатории, требовавшим незамедлительной уплаты 22 центов, хотя далее следовал итог \$0,00, то есть получалось, что она ничего не должна, к тому же в извещении не было никаких банковских реквизитов. Первое и второе извещение иной раз куда-то исчезали, а учитывая, в каких трудных условиях Инид вела военные действия, нечего удивляться, что она весьма смутно припоминала, куда эти извещения засунула. Наиболее вероятным местом представлялся стенной шкаф в гостиной, но правительственные силы в лице Альфреда, расположившись перед телевизором, слушали новости на такой громкости, которая даже ему мешала заснуть, да еще зачем-то включали все лампы в гостиной, а открывать при нем дверцы шкафа было рискованно, того гляди кучей вывалятся каталоги, журналы “Красивый дом” и разрозненные отчеты “Меррил Линч”¹, и гнев Альфреда будет ужасен. Возможно, извещений в шкафу

1 “Меррил Линч” — крупнейшая брокерская контора в США, ее отчеты заменяют биржевые сводки.

вовсе и нет, поскольку правительственные силы время от времени совершали налеты на склады Инид, грозя “вышвырнуть вон” все бумаги, если она их не разберет, а у нее столько сил уходило на предотвращение подобных рейдов, что на разборку документов уже не хватало энергии, а в постоянных вынужденных миграциях и депортациях были утрачены последние следы порядка, так что в каком-нибудь пластиковом нордстромовском пакете с полуоторванной ручкой, запихнутом за горку пожелтевших кружев, скапливалась вся жалкая мешанина бесприютного беженского существования: к примеру, разрозненные номера “Домоводства”, черно-белые снимки Инид сороковых годов, выцветшие рецепты на высококислотной бумаге (непременный ингредиент — увядший латук), текущие счета за газ и телефон, подробное первое извещение из медицинской лаборатории, в котором пациентов просили впредь не обращать внимания на счета, не превышающие пятидесяти центов, бесплатная фотография Инид и Альфреда на круизном пароходе — оба в парео, попивают какой-то напиток из половинок кокосового ореха — и последние уцелевшие копии свидетельств о рождении двоих из детей.

Хотя официально противником Инид считался Альфред, на самом деле в партизана ее превратил дом, захвативший в плен обоих супругов. Обстановка сама по себе не допускала беспорядка. Стулья и столы от Этана Аллена. На переднем плане — “Спод энд Уотерфорд”¹. Непременные фикусы, неременная норфолкская сосна. На стеклянном кофейном столике веером разложены номера “Архитектурного дайджеста”. Туристические трофеи — китайская эмаль, венская музыкальная шкатулка, которую Инид из чувства долга и сострадания порой заводила и поднимала крышку. Звучал мотив “Странников в ночи”².

1 Мебель от Этана Аллена — ширпотреб; “Спод энд Уотерфорд” — высококачественные коллекционные предметы.

2 “Странники в ночи” — песня Фрэнка Синатры.

К несчастью, у Инид не доставало характера, чтобы содержать в порядке такую махину, а у Альфреда не доставало выдержки. Обнаружив следы партизанских действий — скажем, едва не споткнувшись о нордстромовский пакет, валявшийся среди бела дня на подвальной лестнице, — Альфред раздражался яростными воплями, но то были вопли правительства, которое уже не правит. В последнее время Альфред повадился бессмысленно щелкать на своем калькуляторе колонки восьмизначных чисел: к примеру, пять раз высчитывал социальные отчисления от зарплаты уборщицы, получил четыре разных результата и наконец, изнемогая, принял тот итог (\$ 635,78), который случайно выскочил дважды (правильная цифра — \$ 70). Инид совершила ночной налет на хранившиеся у Альфреда папки и извлекла из них налоговые бланки, что могло бы существенно повысить эффективность ведения домашнего хозяйства, если б и бланки не угодили в нордстромовский пакет вместе со старыми номерами “Домоводства”, которые коварно скрыли эти насущные документы, и очередное поражение привело к тому, что уборщица сама заполнила налоговые формы, а Инид попросту выписала ей чек. Альфред же только качал головой, не разумея, что к чему.

Почти все столы для пинг-понга, прижившиеся в подвалах коттеджей, со временем начинают служить другим, безнадёжным играм. Выйдя на пенсию, Альфред приспособил восточный край стола для ведения бухгалтерии и корреспонденции. На западном конце примостился маленький цветной телевизор, — Альфред намеревался смотреть местные новости, восседая в своем большом синем кресле. Но теперь телевизор был погребен под грудой “Домоводств”, жестянок с леденцами и барочных, хотя и дешевых подсвечников, которые Инид все собиралась сдать в комиссионный магазин “Лучше новых двух”. Только на столе для пинг-понга гражданская война бушевала в открытую. На восточном краю Альфредов калькулятор попал в окружение цветастых прихваток для кастрюль, сувенирных подставок для стаканов из “Эпкот-центра” и приспособления для очистки вишен от косточек, которое

Инид за тридцать лет ни разу не пускала в ход; в свою очередь Альфред напал на западный фланг и, к полному недоумению Инид, в ключья разодрал венок из сосновых шишек, фундука и крашенных бразильских орехов.

К востоку от стола для пинг-понга располагалась мастерская, некогда — металлургическая лаборатория Альфреда. Теперь здесь поселились немые, тусклые сверчки, которые с перепугу, словно пригоршня брошенных камешков, разлетались по комнате в самых непредсказуемых направлениях или шмякались на пол под собственной тяжестью. От малейшего прикосновения они лопались, а на то, чтобы вытереть это месиво, уходило несколько салфеток. Инид и Альфред страдали от множества неудобств, которые считали огромными, выходящими за рамки нормы, а потому постыдными, и сверчки в этом списке значились едва ли не на первом месте.

Серая пыль злых чар и паутина магических наговоров плотно окутывали старый электрический горн, банки с экзотическим родиом, зловещим кадмием и стойким висмутом, самодельные бумажные этикетки, потемневшие от испарений из заткнутой стеклянной пробкой бутылки с царской водкой, блокнот, где над последней сделанной рукой Альфреда записью стояла дата пятнадцатилетней давности, еще до начала измен. Где-то на верстаке до сих пор валялся карандаш, оставленный Альфредом полтора десятилетия назад, простой, дружелюбный предмет, за многие годы забвения тоже пропитавшийся враждебностью. Асбестовые рукавицы висели на гвозде между двумя патентами в покоробившихся от сырости рамках. Чехол бинокулярного микроскопа покрыт ошметками краски, осыпавшейся с потолка. Пыли здесь, в подвале, не было только на плетеном диване, банке с масляной краской “Антиржав” и нескольких кистях, а также на двух-трех больших банках из-под кофе. Несмотря на явное свидетельство органов обоняния, Инид предпочитала не верить, что супруг наполняет эти банки мочой, — с какой стати ему мочиться в банки из-под кофе, вместо того чтобы пройти десять шагов до уборной?

К западу от стола для пинг-понга размещалось большое синее кресло. Слишком даже большое, вроде губернаторского. Кресло было кожаное, но пахло, точно салон “лексуса”, точно современная влагонепроницаемая медицинская мебель, с которой можно влажной тряпкой смахнуть запах смерти и освободить место для следующего пациента, и пусть тот умрет со всеми удобствами.

Это кресло — единственная крупная покупка, сделанная Альфредом без согласования с Инид. Когда он ездил в Китай на переговоры с тамошними железнодорожниками, Инид сопровождала его, и супруги вместе побывали на ковровой фабрике, вместе выбрали ковер для гостиной. Они не привыкли тратить деньги на себя, а потому выбрали один из недорогих, с простым синим узором из “Книги перемен” на бежевом фоне. Несколько лет спустя, уволившись с железной дороги “Мидленд Пасифик”, Альфред решил заменить старое, пахнущее коровником кресло из черной кожи, в котором он смотрел телевизор и дремал. Ему понадобилось что-то покомфортабельнее. Мало того, посвятив всю жизнь удовлетворению чужих потребностей, он искал теперь не просто удобную мебель, но возводил монумент своей мечте о покое. И вот Альфред один отправился в мебельный магазин (из дорогих, не предоставлявший скидок) и выбрал Вечное Кресло. Настоящее кресло главного инженера, такое огромное, что в нем потерялся бы и человек покрупнее Альфреда, кресло, способное выносить высокие нагрузки. А поскольку цвет его покупки более или менее соответствовал узору китайского ковра, у Инид не оставалось выбора: Альфредово приобретение разместилось в гостиной.

Однако вскоре у Альфреда начали дрожать руки, и на обширное бежевое поле проливался кофе без кофеина, неслухи внуки давили ногами ягоды и цветные мелки, и Инид заподозрила, что покупка этого ковра была роковой ошибкой. Одной из многих, какие она совершила в жизни, желая сэкономить деньги. Теперь ей казалось, что лучше бы вовсе

не покупать ковер, чем соглашаться на этот. В конце концов, когда дневная дремота Альфреда переросла в заколдованный сон, Инид осмелела. Много лет назад мать оставила ей крошечное наследство. С тех пор на капитал наросли проценты, кой-какие акции поднялись в цене, так что у Инид завелся собственный доход. Итак, гостиная станет зелено-желтой. Инид заказала ткани. Явился обойщик, и Альфред, временно переселенный в столовую, очнулся от дремоты, угодив в сущий кошмар.

— Ты снова затеяла ремонт?!

— Деньги мои, — отрезала Инид. — Как хочу, так и трачу.

— А как насчет моих денег? Разве я не работал?

В прошлом этот аргумент завершал спор — он был, так сказать, легитимной основой Альфредовой тирании, — но на сей раз вышло иначе.

— Ковру уже десять лет, и кофейные пятна с него не отчистить, — вынесла приговор Инид.

Альфред простер руку к своему синему креслу. Обойщик закутал мебель в пластик, и кресло выглядело как объект, предназначенный к отправке на багажную станцию. Альфреда трясло от возмущения, он не верил своим ушам: как Инид могла забыть про этот довод, сокрушающий все ее планы, про это неустранимое препятствие?! Вся его жизнь, семь десятилетий неволи, словно бы воплотилась в этом кресле — оно прослужило уже шесть лет, но все еще выглядело как новенькое. Торжествующая ухмылка расплзлась по лицу Альфреда, он был уверен в неотразимости своей грозной логики.

— А как насчет кресла? — спросил он. — Как насчет моего кресла?

Инид покосилась на кресло. На ее лице проступила печаль — только печаль, ничего более.

— Мне оно никогда не нравилось.

Она поразила Альфреда в самое сердце. Кресло было единственным его личным притязанием на будущее. Прилив

жалости к креслу, солидарности с ним, изумленной скорби при мысли о свершившемся предательстве сбил Альфреда с ног — он снял с кресла пластиковую пленку, рухнул в его объятия и погрузился в глубокий сон.

(Вот так можно распознать заколдованное царство — человек проваливается в сонное оцепенение.)

От ковра и кресла было необходимо избавиться. С ковром Инид разделалась без труда: поместила в местной газете бесплатное объявление и уловила в свои сети трепетную птичку, женщину в том возрасте, когда еще совершают подобные ошибки. Покупательница смятым комком извлекла из кошелька пятидесятидолларовые купюры, отмусолила нужную сумму, дрожащими пальцами расправляя каждую банкноту.

А кресло? Кресло — памятник и символ, неотделимый от Альфреда. Его можно было лишь переместить внутри дома, поэтому оно отправилось в подвал, и Альфред за ним следом. В доме Ламбертов, как повсюду в Сент-Джуде, как повсюду в стране, жизнь уходила в подполье.

Ага, Альфред наверху, выдвигает и задвигает ящики. Он всегда нервничает перед поездкой к детям. Визиты к детям, похоже, единственный интерес в его теперешней жизни.

За безупречно чистыми окнами столовой царил хаос. Неистовый ветер, злобные тени. Инид всюду искала письмо из корпорации “Аксон”, но так и не нашла.

Альфред стоял посреди спальни, гадая, кто и зачем открыл ящики его шкафа — может, он сам? Но предпочел свалить вину за свое замешательство на Инид. За то, что она все это устроила: именно она и могла открыть ящики.

— Ал! Что ты тут делаешь?

Он обернулся к двери, начал было фразу: “Я...” — и тотчас осекся, ведь, когда его заставляли врасплох, каждое предложение делалось непредсказуемым и опасным, словно путь через лес; как только опушка оставалась за спиной, он обнаруживал,

что крошки, которыми он отметил дорогу, склевали птицы, проворные безгласные существа, неразличимые в темноте, но прожорливо роившиеся вокруг в таком количестве, что казалось, это и есть тьма, как будто тьма вовсе не однородна, не простое отсутствие света, а кишение темных корпускул. Когда-то прилежный подросток Альфред наткнулся в “Сокровищнице английской поэзии” Мак-Кея на выражение “тьма крошечная”, по ошибке прочитал “крошевая” и с тех пор неизменно представлял себе сумрак как мельтешение малюсеньких частичек, как зернистость высокочувствительной пленки, которую используют для съемок при слабом освещении, как своего рода зловещий распад, — отсюда и паника человека, заплутавшего в лесу, где тьма была тенью стаи скворцов, заслонившей закат, или полчищами черных муравьев, густо облепивших тушку опоссума, и тьма эта не просто существовала, но *пожирала* ориентиры, которые Альфред оставлял для себя, страшась заблудиться; однако ж едва он замечал, что сбился с пути, как время вмиг замедлялось и в зазорах между словами разверзались дотоле неведомые вечности, вернее сказать, он проваливался в зазор между словами и мог лишь неподвижно стоять, глядя, как время течет дальше, уже без него; вот и сейчас легкомысленное мальчишеское “я” Альфреда умчалось напролом через лес и исчезло из виду, а взрослый Ал так и замер в странно-равнодушном ожидании: вдруг перепуганный мальчик, не знающий, куда он попал и в каком месте вошел в эти словесные дебри, сумеет все-таки случайно выбраться на опушку, где его ждет не подозревающая о лесах Инид.

— Вещи свои собираю, — донесся до Альфреда собственный голос. Вроде бы все правильно. Существительное, притяжательное местоимение, глагол. На полу — чемодан, разумное доказательство. Он ничем себя не выдал.

Но Инид заговорила снова. Врач предупредил, что Альфред слегка недослышит. Стоит, хмурится, плохо ее понимает.

— Сегодня четверг, — погромче повторила она. — Мы уезжаем только в субботу.

— В субботу! — эхом откликнулся Альфред.

Жена хорошенько отчитала его, и на время кромешное птичье крошево отступило, но снаружи ветер задул солнце и стало очень холодно.